

ЕЖЕДНЕВНИК

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ



БЛОГ А.

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Владимир Соколов

Ежедневник. Блог А

<https://litres.ru/74632384>

SelfPub; 2026

Аннотация

Книга рассчитана на то, что сегодня называется relatability. Поток впечатлений и мыслей, на которые может откликнуться кто-нибудь другой.

Владимир Соколов

Ежедневник. Блог А

Владимир Соколов

Ежедневник. Блог А.

Ежедневник

Январь – март

На свете нет такой вещи, которую не согласился бы рассказать о себе художник, если только она будет выражена с достаточным искусством. Если его что-то по-настоящему пугает, так это дилетантское несовершенство личной жизни – ее неряшливый и хаотичный вид, когда она еще не пропущена через чистый фильтр литературного труда и не вышла в свет в готовом виде, закованная в панцирь идеальной формы и покрытая глянцем мастерства. Писатель гораздо меньше стыдится изъянов своего характера, чем недостатков своей прозы. Безупречный стиль – это щит, за которым он чувствует себя неуязвимым.

В два часа ночи под окном с надсадой орут бездомные коты, злобно и ханжески гнусава, словно бесы, истязаящие грешников в аду. Отложив книгу, я отодвигаю штору и выглядываю наружу: за окном ясно и холодно сияет залитый электрическим светом двор с разноцветным карамельным снегом, желтым возле фонарей и лиловым в отдалении. Все это очень похоже на сцену из волшебной оперы, где еще не видно исполнителей, зато декорации уже на месте: на детской площадке в легком оперении инея искрятся спортивные турники, на заднем плане слюдяными блестками сверкают выдутые из стекла деревья, а из бархатной черноты между домами, кажется, вот-вот появится напудренная фея в алмазной короне и затканном звездами плаще. Но пока представление не началось, можно просто постоять перед балконной дверью, любуясь на то, как поигрывают радужные волокна на валике заснеженных перил и в зеркально острых зернах на карнизе сверкают золотые и сапфировые искры.

В повседневной жизни я слаб, самолюбив и мнителен, как и положено неудачнику, но в глубине души мне все равно, как я выгляжу в чужих глазах. Да, на людях я всегда боюсь

попасть в смешное положение, и на улице не решаюсь спросить дорогу у прохожего, а в магазине – заговорить с продавщицей; в электричке и в метро, если в руках нет телефона, притворяюсь спящим, возвожу глаза под потолок или изучаю пол, направляя взгляд куда угодно, только не в лицо сидящему напротив пассажиру (хотя тот-то смотрит на меня прямо и невозмутимо, как на восковую куклу); в компании веду себя неестественно и фальшиво, впадая то в угрюмое молчание, то в чрезмерную болтливость, с идиотским видом изрекаю пошлости или рассыпаюсь угодливым смешком, дребезжащим от детского фальцета; не умею общаться – не говорю уже «ладить» – с так называемыми простыми людьми, поскольку все их стремления, интересы и склад ума кажутся мне чем-то непостижимым (хотя на всякий случай всегда стараюсь «сойти за своего»); не люблю разговаривать с незнакомыми людьми, не хожу в сауны и бани, избегаю парикмахерских и ресторанов, вечеринок, родственников и бывших одноклассников; могу растрогаться до слез, если на дороге передо мной просто посторонится пешеход (значит, меня заметили, со мной считаются, я, по крайней мере, существую!), – однако, несмотря на это, чужое мнение мне в общем безразлично. Где-то глубоко внутри себя я убежден, что если чье-то существование и подвергается всерьез сомнению и нуждается в каком-то доказательстве, то как раз не мое, а самого этого «действительного» мира. Больше того: я уверен, что так называемая реальность – только поме-

ха, ограничивающая мои возможности, потому что все, что мной совершено, у меня уже отнято, и лишь поступки, от которых я воздержался, мне еще принадлежат. Вот почему любое практическое дело, если меня не принудить к нему прямо, заканчивается тем, что я тысячу раз проворачиваю его в уме, мысленно проживаю во всех возможных вариантах, а потом равнодушно отбрасываю в сторону, – воплощать его в жизнь кажется мне уже чем-то лишним и ненужным. Будь такое состояние вообще возможно и не мешай мне глупое, но неизбежное тщеславие, я предпочел бы не делать ничего и быть никем, чтобы, благодаря этому, сохранять возможность делать все и быть всем.

Я отказываюсь от философских идей (например, от идеи детерминизма) не потому, что считаю их нелогичными или недоказанными, – доказать как раз можно все, что угодно, – а потому, что со временем они начинают надоедать. Из любой истины постепенно выветривается свежесть. Как зимой тянет выйти из душной комнаты на воздух, так и мне хочется выйти из знакомых истин и подышать холодной, болезненно чистой атмосферой нового учения. Занимательность гипотезы с успехом заменяет критерий истинности, а новизна теории – или хотя бы ее изложения – служит признаком глубины. Подлинно только то, что интересно, и только до тех

пор, пока это интересно: истина не допускает скуки.

То, что человеческая история не оборвалась после пришествия Христа и продолжается так необъяснимо и ненужно долго (нет ведь никакой разницы, кончится она сейчас или через тысячу лет), вероятно, говорит о том, что Его откровение не было окончательным и что следует ожидать прихода какой-то новой, еще нигде и никем не засвидетельствованной истины, для которой пока не найдены ни мысли, ни слова. Кто знает, может быть, это уже случилось, и надо просто открыться наступающей отовсюду новизне? Ну, а я, если бы мне было дано просить о чем-то Бога, умолял бы только о пришествии этой странной небывалой нови, ощущаемой всеми и повсюду, как в горах чувствуешь близость ледника, наполняющего холодом всю округу.

В воскресенье было слишком холодно для лыж, однако брат все-таки уговорил меня поехать в лес: он сказал, что сейчас самая хорошая, «стекловидная» лыжня и если выбрать правильную смазку, то лучше погоды не придумаешь. Следуя его плану, после обеда мы вышли к соседним гаражам, встали на снег, немного подождали, когда мазь схватится на холоде, крепко зажали ботинки в алюминиевые скобы

и заскользили по снежным рельсам в лес.

Лес у нас начинается недалеко от города и на целый километр идет в сторону карьеров. Сперва долго тянется плоское поле с редкими чахлыми деревцами, похожими на облачка порохового дыма (в солнечный день все они отбрасывают на снег прозрачную голубую тень, точно рюмки с кюрасо), потом начинается серо-стальное, обсыпанное снежной перхотью игольчатое мелколесье, дальше сметанно-белые волосатые заросли орешника и, наконец, мрачно суровый, почти непроходимый ельник.

Позже, когда мы вошли в сам лес, нас со всех сторон обступил плотный осязаемый холод снежных стен. Лыжня плавно текла сквозь дымившийся асбестовым прахом еловый бор, прокладывая путь в толще окаменевшего коралла. Пересекая какой-то безымянный ручей, мы поднялись на бревенчатый мостик и остановились, чтобы посмотреть на воду. В незамерзшей полынье было видно чистое прозрачное дно ручья с песком и мелкими розовыми и желтыми камешками, на которых рыбьими жабрами дрожали солнечные зайчики. Вокруг них, как миниатюрный хвойный лес, шевелились заросли черной тины и качалась несоразмерно большая ветка роголистника, откуда, казалось, вот-вот должны были выплыть мальки.

Потом, когда мы подняли головы, зимний лес показался нам чем-то нереальным. Больше всего нас поразила тишина – почти полное отсутствие звуков, не считая нашего соб-

ственного дыхания и перекликавшихся где-то за холмами женских голосов, которые постепенно отдалялись и от этого становились только музыкальней и звонче. Мы стояли на дне оврага теплые и распаренные после бега, в облепивших спину мокрых майках, сбросив шапки и откинувшись на расставленные палки, чувствуя, как мороз быстро прохватывает голову до корней волос и делает их чувствительней и тоньше. Гигантский лес альбиносом громоздился над нами на холмы, празднично поблескивая верхушками елей, и небо над ним было таким же чистым, теплым и лазурным, как в летний день. Но нам было неловко молча «любоваться на природу»: я быстро закашлялся и надел охолодавшие внутри перчатки, а брат постучал палкой по льду и нахлобучил на затылок ондатровую шапку, все время сползавшую ему на лоб.

Что ни говори, а непрерывная последовательность сознания — единственная реальность, которая нам доступна, и единственная вещь, которую невозможно разделить с другими. Только о себе самом можно уверенно сказать, что существуешь — всех остальных приходится наделять собственным существованием. На самом деле жизнь другого человека, если осознать и принять ее всерьез, грозит безумием и раздвоением личности: видимо, поэтому никто ее всерьез и не принимает. Нет ничего грубей и бесцеремонней, чем обра-

щение потомков с биографиями уже умерших – этих мертвых и безвольных кукол, покорно распластанных под руками бодрых вивисекторов, словно трупы на столе анатома. Да и что с ними церемониться, если они уже не текут, подобно нам, в неумолимо-равномерном, несжимаемо-нерастяжимом времени и не переживают одну за другой каждую его секунду? Постфактум события их жизни можно тасовать произвольно, как колоду карт, а поступки и мотивы разбирать и складывать в любом порядке, точно кубики из детского конструктора.

В свое оправдание биографы могут заметить, что и с живыми дело обстоит ненамного лучше. Если приглядеться, в каждом нашем дне зияют дыры, лишённые сознания: время сумерек души, если не сказать «провалов в памяти», промежутки томительного будничного сна, когда живешь просто по привычке, с едва брезжащим разумом, в теле-автомате, управляемом двумя-тремя простыми мыслями. Только в ретроспективе прошлого, оборачиваясь назад, мы сообщаем своему опыту непрерывность и единство, которыми на самом деле он никогда не обладал. В итоге всякая вещь, к которой я прикасаюсь, любое умозаключение, которому я стремлюсь придать законченность, оказывается заведомо ущербной выжимкой из целого, наудачу вырванным фрагментом, то есть чем-то произвольным, подражательным, насильственным и лживым, как фальшива статуя античной Афродиты, к которой реставраторы приделали утраченные

руки.

Трудно сказать, происходит такая подмена безотчетно или на нее идут сознательно (возможно, из самых лучших побуждений), но всем она благополучно сходит с рук, по крайней мере, поначалу. Только со временем появляется чувство, что тебе немного не хватает воздуха, а еще позже начинаешь замечать, что тебя изо всех сил стараются втиснуть во что-то все более узкое и тесное, проделывая это, правда, безо всякой злобы, так спокойно и уверенно, словно дело это всем известное и давно решенное, поэтому и неоспоримое. Кажется, что здесь действуют законы какой-то круговой поруки, настолько давней и глубокой, что со временем она забылась даже первыми ее участниками. Возмущаться и бороться вроде бы не с кем, поэтому остается только набраться терпения и вежливо улыбаться, как посетитель ресторана, которому вместо хлеба подали кусок пористой резины.

Если работа не доставляет ни радости, ни результатов, ничего, кроме бесплодных и бессмысленных усилий, — не лучше ли совсем ее бросить? Разумеется, не лучше. Важно не упускать из виду исходной точки, проявлять неизменное упорство, с маниакальной настойчивостью преследовать раз и навсегда выбранную цель, пускай сам выбор кажется уже

ошибочным. Пока ты держишься за этот крюк, остается и надежда, даже если ты сам, от отчаяния или усталости, из всех сил стараешься убедить себя в обратном.

Листая гравюры, акварели и рисунки начала XIX века, почти через каждый лист натыкаюсь на «портрет неизвестной», «портрет молодой женщины» и «женский портрет», подписанный «Неизвестный художник» или просто «Акварель». Сколько же их было, этих безымянных дворянских дочерей и жен, блиставших год-другой в столичном свете, потом благополучно выданных замуж и загложших от чахотки в своих уездных гнездах! Никто уже не расскажет мне об их судьбе – может быть, старомодно трагической и бурной, с дюжиной любовью и застреленным на дуэли мужем, или, наоборот, спокойной, идиллически-семейной, прошедшей незамеченной у «бабушкиного пруда». Кто, например, вот эта бледная женщина с мягким задумчивым взглядом и лицом «римской весталки», как писали в романах тех лет? На корсаже кружевного платья большой атласный бант, волосы на висках взбиты в букли, а на затылке стянуты в высокий пучок, утыканный золотыми шпильками, и под ним – милое продолговатое лицо, сохранившее тень улыбки в ответ на учтивый комплимент: все, что осталось от полдюжины сеансов у забытого художника. А вот другая – в шелковом бурнусе с

хохлатым перышком, в темном бархатном платье с алмазной брошью на груди, с угольно-черными глазами и немного собачьим, широким книзу носом, какой бывает у женщин умных и лукавых. Или эта, богато убранная розами, но замкнутая и рассеянная, с «пунсовой» косынкой вокруг шеи...

Наверно, самое красивое на свете – это красивый мальчик. Греческий Гилл и Ганимед, полурастение-полубог, еще не имеющий ни мыслей, ни характера, но уже обладающий огромной властью, которая с годами превратит его судьбу в легенду. Для успеха ему не нужно ни славы, ни богатства, ни таланта, ни ума, ни даже доброты: стоит ему где-то появиться, и его красота сама заявит о себе громко и ярко, как яблоко раздора, брошенное в толпу. Пока он только ребенок, но женщины уже ахают от восторга, увидев его лицо: их руки невольно тянутся к нему – к живой игрушке, маленькому ангелу, прекрасному принцу, юному царевичу в атласном кушачке; им хочется вечно его баловать и ласкать, гладить его вьющиеся волосы, целовать в открытый лоб, осененный какой-то странной благодатью. Надо успеть насладиться им, пока он еще здесь, а не растворился и не растаял в воздухе, как одна из тех случайных эфемерных редкостей, которые и составляют вкус и сладость нашей бедной жизни.

Приснилось, что я учусь в средневековой школе. Я сидел в просторном классе за дубовой партой, стекла в стрельчатых окнах были в ромбиках цветной мозаики, на столе поблескивали песочные часы, вставленные в стакан из зеленой меди. Снаружи ясно угадывалась весна, солнечный день с льющейся с крыш капелью, но внутри о ней напоминала только яблоневая ветка, принесенная кем-то с улицы и поставленная в стеклянную колбу на учительском столе, – толстый коленчатый сучок с набухшими почками и пузырьками воздуха на переломленной и уродливо раздутой под водой ноге.

В непрерывном беге повседневной жизни есть что-то успокаивающее, даже убаюкивающее, как в равномерной качке поезда, которая наводит на пассажира сонную истому, особенно если тот устал и сам мечтает поскорей забыться. Как хорошо вот так же сладко и доверчиво, без сомнений и оглядок, отдаться плавному движению судьбы: избавиться от всех своих причуд, раствориться в безымянной массе, перестать быть отщепенцем и изгоем для людей нормальных, «средних». Стать каким-нибудь небритым алкоголиком, с раннего утра дежурящим у магазина, которого ругают и гоняют продавщицы, но который зато каждому поня-

тен, занимает в обществе свое признанное место и не обдает других необъяснимым холодом. Или, еще лучше, – рядовым обывателем, простым пехотинцем жизни, который по утрам, открыв глаза, сразу с головой уходит в свои насущные дела, а те уже сами по себе наподобие локомотивной тяги тянут его по накатанным и гладким рельсам дня. Напрягаться и думать тут особенно не нужно: обыденность самодостаточна, она сама себя кормит, как флюберовский Катоблеп, который съедает у себя вторую лапу, пока отрастает первая: надо только суметь попасть ей в тон. Главное – не останавливаться, не оглядываться по сторонам, не задаваться лишними вопросами и не смотреть себе под ноги, проверяя, есть ли там еще какая-то опора или ты уже давно шагаешь на краю карниза и вот-вот сорвешься в пустоту. Да и о чем, в конце концов, заботиться? Какая разница, как пройдет твоя жизнь? Не все ли равно, достанутся ли тебе истина и счастье, если каждая секунда твоей жизни, коль скоро она уже прошла, навсегда законсервирована где-то в монолитном прошлом и хранится в нем так же прочно и надежно, как вмурованный в янтарь комар? А если ты слаб духом и тебе нужно утешение, можно утешаться тем, что и после смерти попадешь в один котел со всеми.

С одной женщиной, с которой я познакомился на работе,

а затем рассорился так, что всякие отношения между нами стали невозможны, у нас сохранился довольно-таки эфемерный способ общения: я делаю рефераты к статьям, на которые она пишет аннотации. В разное время мы прилагаем усилия к одному и тому же тексту, который в итоге оказывается нашим посредником. Правда, это совсем нейтральный, равнодушный и безмолвный посредник, он ничего не может сообщить ни ей обо мне, ни мне о ней; но все-таки строчки, по которым бегали ее глаза, над которыми работала ее мысль, остаются некой промежуточной средой, сохранившей часть ее души: они несут на себе слабый отпечаток ее интеллекта, который я могу воспринимать теперь только умозрительно, из вторых рук, словно с постоянным запозданием входя в комнату, из которой она вышла минуту назад.

Чувство реальности больше всего основано на привычке. Любая радикальная перемена обстановки поначалу всегда вызывает недоверие – «это похоже на сон». Все выглядит каким-то ненастоящим, отстраненным, как будто игрой, которая не может иметь никаких серьезных последствий. В таком состоянии мы не столько живем, сколько добровольно подыгрываем обрушившейся на нас действительности – как раз в силу ее нереальности, с тайной усмешкой недоверия, храня смутное сознание, что, пожелай мы ее ниспро-

вергнуть, нам достаточно было бы просто отказать ей в своем признании. И мы действительно ее не признаем – мы сживаемся с ней, пока незаметно для нас она не становится такой же привычной и тем самым – настолько же реальной.

Хотя мне никогда не приходилось голодать, к еде я отношусь уважительно и бережно, как человек, переживший долгую осаду. Правда, для того чтобы возбудить мой интерес, она должна быть представлена в упакованном и компактном виде, в форме долгосрочных пищевых запасов, сложенных на полках на складе и в пакгаузе. Представляя себе брикеты чая, пачки галет или мешки сухофруктов, я испытываю радостное оживление и внутренний подъем, вызванный чувством надежной обеспеченности и уверенности в будущем, которое внушает мне идея хорошо хранящихся продуктов. Как приятно иметь в своем распоряжении концентрат жизненной энергии, которая так экономно и с такой наглядностью воплощена в молочный порошок или кубики куриного бульона! Я не обжора, глотающий голодную слюну, – я метафизик, с радостью обоняющий специфическую свежесть бакалейного отдела, запах кулей с рафинированной мукой и эфирный аромат лаврового листа. Мне нравятся длинные пучки вермишели – ломкой и стеклянной, как засохший клей, – стерильное пшено в прозрачных банках и

бумажные упаковки с солью грубого помола. Я без ума от кондитерских полок, где в картонных коробах, как артиллерийские снаряды, блестят жестяные банки кофе, а увесистые плитки шоколада спиралевидной лестницей поднимаются до потолка. Не зря мои родители уверяют, что в детстве я хотел стать военным интендантом.

Если неожиданно спросить, зачем нужна истина, такой вопрос застал бы меня врасплох. Ничего лучше не пришло бы в голову, как ответить, что это, должно быть, род какой-то внутренней потребности, которой можно надолго пренебречь, но которая рано или поздно дает о себе знать в той или иной форме. Было бы странно, если бы истина имела практическое значение или если бы мудрость была применима в повседневной жизни. Очевидно, что философия совершенно не нужна ни для счастья, ни для жизни, ни для покоя, ни хотя бы для чувства удовлетворенности собой. Спрашивается, для чего она вообще нужна, если без нее можно не только прожить, но и прожить счастливо?

Что же я хочу от истины? Чтобы она обладала абсолютным присутствием и наглядностью, какую имеет, например,

корова, которую можно потрогать за рога, или пахучий куст жасмина. В ней должно быть что-то плотское, повседневное, необходимое телу, а не только духу, чтобы она ежеминутно наполняла меня изнутри и окружала со всех сторон снаружи: скажем, содержалась бы в еде, поглощенной за обедом, и затем превращалась в калории в моем желудке, или вместе с воздухом входила бы в легкие, обогащая кровь свежим кислородом. Наконец, надо, чтобы это она владела мной, а не я ею, иначе по слабости воли, нецельности и рассеянности ума я тут же выпущу ее из рук; или, еще точнее, только тогда я мог бы чувствовать себя надежно спасенным и защищенным ею, если бы она и я – были одно и то же.

Нашей старостой в четвертом классе была Таня Урявина – девочка маленького роста (стоя у школьной доски, она была чуть выше учительского стола), хрупкая, но с нестигаемым характером и чувством рано развитой ответственности. Семья у нее была бедной и, похоже, неблагополучной: в школе говорили, что отец ее серьезно болен, мать не то пила, не то тоже болела, поэтому в доме всегда не хватало денег, и это сказывалось в скудости ее одежды, в стоптанных туфлях и вылинявшей форме, перешедшей по наследству от старшей сестры – педантичной злочки, работавшей пионервожатой. Мы проучились вместе только до шестого класса, но я хоро-

шо запомнил эту Таню – симпатичного заморыша, глазастого и тощего, как лягушонок, две ее гнутые косички, заплетенные с тяжелыми бантами, миловидное, но всегда не улыбающееся и хмурое лицо маленькой героини с твердо и упрямо сжатыми губами и с непримиримо ясным и суровым взглядом серых глаз, от которого людям с менее кристальной совестью, вроде меня, делалось не по себе. В день, когда умер ее отец, она пришла в школу, еще не зная об этом, села, как обычно, за свою парту и стала вынимать учебники, не замечая окружавшего ее испуганного любопытства, но потом стала догадываться о чем-то по наступившей в классе тишине и взглядам одноклассников, которые пугали ее все больше. Наконец, на перемене один из учеников, обожавший всякие сплетни, подсел к ней за парту и начал исподволь ее расспрашивать, все к чему-то клоня и на что-то намекая; она в ответ молчала, хмурилась, все ниже опускала голову и, наконец, расплакалась, беспомощно сторбив плечи и закрыв ладонями лицо.

Самой красивой девочкой у нас в классе считалась Марина Савина. Внешне она напоминала рыжего котенка с пухлыми губами и чуть косящим взглядом, в котором чудилась невинная порочность. Вспомнить о ней мне почти нечего, кроме того, что однажды я обменял ей свои фантики от «жевачки» на польский журнальчик с комиксами. Сделка происходила во время перемены при общем внимании и живом участии соседей: я сидел за партой, откинувшись на стуле,

со вспотевшими от волнения ладонями, а она стояла передо мной в проходе, вежливая и предупредительная, в сознании своей признанной красоты и светского превосходства, на фоне которого я выглядел грубым деревенщиной.

Еще у нас был Роншаков, которого все звали «Ишаком», предмет насмешек и придинок всего класса, типичный «мальчик для битья» – толстогубый, вислоухий, простодушный, всегда взъерошенный, с глуповатой ухмылкой до ушей и добрым, но обидчивым характером, из-за чего всем было еще интересней его мучить. Сам он не видел в своем положении ничего особенного, считая его обычным для дружеских и школьных отношений, никогда не унывал и на переменах чувствовал себя свободно, носясь по коридорам и крутя воображаемый руль, а когда к нему обращались с каким-нибудь вопросом, с дурацким видом переспрашивал: «Кого позвать?» Был еще Ерко по кличке «Ерошка», курчавый барашек-балагур с хохляцким юмором; хулиган Титов, которого в классе все боялись; Бачурина, с которой я долго сидел за одной партой, – веснушчатая востроносая клушка с сиплым голосом; однофамильцы Лебедев и Лебедева, похожие как брат с сестрой; миловидная Гончарова, но не Наталья, а Ольга, предмет моих симпатий в третьем классе, – наивная на вид, но с грубым и тяжелым смехом, выдававшим ее подлинный характер; толстый Олег Молев, с которым я играл в хоккей, и его друг Бекшин, заболевший впоследствии падучей; смазливый и самоуверенный Большаков (на пару к

Савиной), Добровольский, Елагин, Смирнов, Варфоломеев, Сугробов, Горбунова... Напрягая память, я еще могу вспомнить их лица, но фамилии кажутся уже чужими, словно я никогда не знал этих людей по-настоящему, а только прочитал о них в книге.

Мое пристрастие к свежести идей доходит до смешного: я отношусь к ним как к скоропортящимся фруктам, которые надо употребить как можно скорей, пока они не протухли и не сгнили. Мне нужны самые последние новинки, только что опубликованные статьи, недавние переводы – все, что даже физически выглядит нетронутым и свежим. В философии, как и в жизни, хороша только первая дрожь удовольствия, когда утром ступаешь на незнакомый материк, предвкушая неожиданные находки, а в полдень, когда все дороги уже исхожены и поля истоптаны, покидаешь его без сожаления, с еще одним разочарованием, но с прежней тягой к открытому пространству.

С недавних пор ко мне по вечерам, примерно в одно и то же время, словно педантичная гостья, стала наведываться беспричинная тоска. Начинается она после ужина, слов-

но приступ лихорадки, держится несколько часов, как высокая температура, а к ночи пропадает без следа. Чтобы как-то перетерпеть эту муку, я начинаю думать о чужих и неизвестных мне людях, лучше всего о тех, кто жил далеко отсюда и в другое время, – например, о пирате Дрейке. Я стараюсь представить, как ранним утром он выходил на палубу своего корабля, садился на свернутый канат и зевал во весь рот, жмурясь на большие волны, и за поясом у него торчал дуствольный пистолет с серебряной насечкой. Мысль, что когда-то все это было на самом деле, доставляет мне глубокое наслаждение. Хорошо помогает и перечитывание «Тома Сойера» – потому что это детство, и к тому же не мое, а значит, вдвойне счастливое: в конечном счете, все, что не касается меня, кажется мне прекрасным.

Нет ничего унылей и скучней, чем просыпаться в оттепель по воскресеньям. За окном по-осеннему капает вода – тупой удар по жести, долгая пауза и сразу тройной дробный перестук. На улице кто-то волочит санки, мучительно скрежеща железом об асфальт, и потом, перейдя на снег, мягко и сыро шелестит полозьями. Ветер в ярости трясет оконную раму, как будто дал клятву вырвать ее с корнем, а грубые яблоневые ветки скребутся и елозят по стеклу. Услышав это, лучше всего снова накрыться одеялом и погрузиться в сон, а ес-

ли спать уже не хочется, просто проваляться до обеда в постели, посасывая мятную пастилку от кашля и читая что-нибудь легкое и неустойчивое под флейтовый свист в оконных щелях. Ну, а если все-таки решился встать – сразу же включить люстру и ни в коем случае не выглядывать за штору. Все равно не увидишь там ничего хорошего, кроме раскисшего снега, провалившихся в сугроб следов и огромной лужи, похожей на пролитый клей, у которой, как на берегу пруда, в оцепенении застыли дети; в лучшем случае – домашней кошки, которая брезгливо просеменит по грязному насту и, пробежав по своему отражению в мокром тротуаре, нырнет в подвальное окно.

Я собираюсь жениться, поэтому мне нужно купить халат. По утрам я буду выходить из супружеской спальни в гостиную и, поглаживая бакенбарды, пить ванильный кофе с коньяком. Благодушно улыбаясь, я закурю сигару и сквозь табачный дым, взлетающий к лепному потолку, прочту страницу из утренней газеты. Потом из спальни послышится теплый и немного сиплый со сна голосок жены:

– Алекси-ис!

Докурив сигару, я неторопливо войду в комнату, где в темном алькове, зарывшись в подушки и одеяла, нежится только что проснувшаяся жена. Я потреплю ее за щеку и

поцелую в родинку на шее, слегка раздвинув надушенные вербеной кружева.

— Ах, Алексис, — скажет жена, зевая и вытягивая ноги, — какие глупые сны снятся под утро!

— Ничего, моя дорогая, сейчас я принесу кофе.

Сдвинув в сторону пудреницы и одеколоны, я поставлю на трюмо поднос, где среди фарфоровых чашек дымится голубой кофейник и на розовом блюде лежит мягкая булочка с марципаном. Жена протянет пухлую руку к чашке, а я подойду к окну и подниму темно-вишневые гардины, чтобы в спальню вдруг хлынул весь солнечный июньский день.

Освобождение приходит неожиданно, в неподходящем месте, в самые скучные и скверные часы, когда меньше всего этого ждешь. Это происходит глубокой осенью в тесном салоне переполненной маршрутки, где почти так же холодно и грязно, как на улице, и пассажиры согреваются только собственным дыханием и теснотой в проходах. Это бывает в вагоне подмосковной электрички, когда поезд уже давно оставил город позади и мчится, ускоряя ход, по промышленным и заводским предместьям, а за мокрыми от дождя стеклами, затянутыми паром, стоит крошечный мрак, мигающий шоссейнными огнями. Это случается на исходе дня в душном офисе, когда в спертom воздухе стоит нестройный

гул и на столе уже лежат чьи-то собранные вещи, а зимние окна доверху налиты черно-синими чернилами. Это появляется в автомобильных пробках и больничных очередях, на поздних лекциях и затянувшихся собраниях, когда от утомления в голове стоит туман, а в навернувшихся от зевка слезах расплывается актовый зал и красная трибуна с лысой головой докладчика. Существует какой-то удивительный закон, по которому как раз в самые мертвые и безнадежные минуты, когда тупость и скука жизни достигают предельной силы и иссохший мозг мечтает только отдохнуть, происходит этот переворот: от гнета усталости, от никчемной траты времени, от бессмысленной убогости существования, которая давит на тебя тяжким грузом, где-то в глубине души вдруг срабатывает клапан перегрузки: слишком туго затянутая гайка срывается с резьбы, и внезапная, блаженная, ничем не объяснимая свобода захлестывает с головы до ног.

Вечером на улице вместо мороза – подмороженная пустота. Холод уже не сжимает, как зимой, а наоборот, освобождает тело. Когда проезжает автомобиль, слышен характерный для марта звук – хруст подтаявшего и опять замерзшего на дороге снега.

В начале марта, в скучное послеобеденное время, когда мелкие снежинки прочерчивают воздух и задует неизвестно откуда северный студёный ветерок, на безымянной станции среди леса стоит одинокий пассажир – молодой солдат в гороховой шинели, мохнатой ушанке с рубиновой звездой и неожиданно щегольским черным «дипломатом», зажатом между кирзовых сапог. Все пристанционные строения: деревянная касса, дощатые сараи, склады – выглядят заброшенными и нежилыми, и хотя где-то рядом посвистывает невидимый тепловоз, маневрирующий на запасных путях, сама станция пустынна, если не считать стоящего у платформы короткого состава из четырех черных, припорошенных снежком цистерн. Нахлобучив на нос шапку и уткнув подбородок в воротник, пассажир исподлобья поглядывает по сторонам, ничего в особенности не замечая и терпеливо, как полагается солдату, перемогая ожидание и скуку. Но потом, случайно взглянув наверх, он видит в облаках просвет ясного неба – «февральскую лазурь», – и вдруг ему становится понятно, что на самом деле зима давно закончилась, и в лесу стоит какая-то новая легкая сушь, а тело холодит уже не мороз, а бодрая спартанская свежесть, обдающая мурашками стыдливой наготы. Сообразив все это, солдат улыбается про себя, пока косноязычный репродуктор объявляет о прибытии поезда, потом берется за ручку своего портфеля, садится в вагон и едет куда-то по своим делам – может быть,

домой, в отпуск на три дня.

Был уже третий час дня, но в трапезной явно не хватало света. В глубине большого зала, где стояли столы и стулья для почетных гостей, ради особой торжественности поднятые на возвышение (слугам, подносящим блюда, приходилось подниматься к ним по ступенькам), сотрапезники почти не различали лиц соседей. Прислуга давно заметила это неудобство, но в отсутствие хозяйки никто не решался принести свечей. К тому же недостаток солнца не мешал гостям опустошать подносы с дичью, прикладываться к фруктам и наливать вино из кувшинов, только что принесенных из подвала и покрытых каплями росы.

На этот раз, в нарушение всех обычаев, за хозяйским столом отсутствовали сеньор и его супруга: все знали, что сеньор серьезно болен, а жена его по каким-то причинам задерживалась. По правую руку от пустых кресел, расправив плечи и опустив на стол тяжелые кулаки, сидел сенешаль замка. Несмотря на преклонный возраст, он держался твердо и прямо, хранил угрюмый вид и хмуро поглядывал на пирующих гостей, не притрагиваясь к еде в ожидании хозяйки. Его одежда состояла из простого серого камзола, черной наплечной накидки и охотничьих сапог. В честь праздничного дня он надел только пурпурный берет, украшенный пером

хохлатой цапли.

Слева от хозяйских мест на маленьком стуле, принесенном в последнюю минуту, притулился, скромно опутив ресницы, миловидный мальчик, которого в замке никто не знал: отрок лет пятнадцати с бледным девичьим лицом и длинными выющимися волосами цвета спелой ржи. Он был облачен в богатый костюм гранатового бархата, на его плечах в три ряда лежали кружева плетеного воротника, а на груди, как у знатного дворянина, блестела золотая цепочка с крупными звеньями.

Но вот наконец у входа послышались голоса и в трапезной появилась хозяйка в сопровождении небольшой свиты. Она прошествовала через зал в жестком платье из зеленой парчи, ступая мелкими шажками и держа голову подчеркнуто высоко и прямо, словно боялась нарушить равновесие двух тяжелых кос, закрученных в рога муфлона. Мочки ее ушей оттягивали крупные малахитовые серьги, а обрамленный кружевами вырез на груди открывал целомудренно ровную часть тела, где только в самом низу начинала подниматься и раздваиваться непорочная белизна.

Как только она опустилась на свое место, один из жонглеров, которые стояли в толпе слуг и подкручивали колки на своих лютнях, вышел на середину зала и поклонился даме.

– Госпожа! – произнес он профессионально громким голосом, стараясь привлечь к себе общее внимание и тронув струны на своем инструменте. – Дозволь мне приступить к

своим обязанностям и развлечь гостей веселой музыкой и пением, которым благосклонно внимали благородные дамы и господа при дворе Арраса.

Жена сеньора в это время уже о чем-то говорила с сенешалем: тот слушал ее молча, склонив голову и еще сильнее нахмурившись. В ответ он только утвердительно кивнул и взялся за тяжелый кубок, а хозяйка, дав жонглерам знак начинать, с ласковой улыбкой повернулась к мальчику.

Утром было пасмурно и моросил крест-накрест мелкий снежок, почти не заметный в воздухе и ясно различимый только на фоне черно-бобровых елей, которые он косо штриховал своими перепутанными стежками. В середине дня снег стал крупней и повалил уже неряшливой лохматой массой, назойливо мельтеша перед глазами, а к обеду и вовсе перешел в изморось. В помещении институтской столовой стало сумеречно и уютно, как бывает в дождливый день, когда уличный холод и ненастье только обостряют чувство голода. Вечером по дороге домой утоптаные дорожки розовели влажным льдом – твердые и выпукло-блестящие, как женский ноготь. На обочинах лежал нездоровый снег, весь разбухший и в розовых оспинах: присев на корточки, я воткнул руку в сугроб и поднял на ладони стоячий мокрый столбик снега.

Равноденствие мороза и весны. Когда выходишь утром из подъезда, дутый лед на тротуаре уже лопается и трещит под ногой, как ореховая скорлупа, и нагретые солнцем сосульки с грохотом обрушиваются с карнизов, разлетаясь на куски и обдавая прохожих брызгами, но вечером их осколки снова примерзают к тротуару. Ручьев нет, снега еще слишком много, воде некуда течь, и она стоит на дороге, как квашня, чавкая и хлюпая под ногами. Перед булочной разлилось уже целое море – прохожим приходится идти в обход по голому газону, продираясь через кусты по вязкой сырой земле, всасывающей каблуки сапог, и потом отмывать обувь в той же луже, вытирая подошвы о бордюр и старую траву и резко – сейчас все звучит резко – шаркая ботинками о тротуар. Воздух при каждом вдохе холодит нёбо и кислит язык, как чистое железо.

В нашем парке после захода солнца еще долго стоят сумерки. На автобусной остановке молча темнеют фигуры людей и огромные черные дубы, опутанные снежными змеями, где-то рядом пересвистываются две синицы, и когда они умолкают, слышно, как из глубины рощи им отвечает третья.

Розовая вода в колеях дороги отражает чистое и холодное небо с осадком карминовой зари.

Но вот на шоссе с шумом пролетел самосвал, ошпарив тишину кипятком выплеснутой лужи, и в воде долго с шуршанием перебалтывается ледяное крошево. Потом издалека к станции приближается электричка, ее гул постепенно растет, охватывая весь горизонт, собирается в пучок и тонкой фистулой пронизывает рощу. Наконец, по ледяным торосам на шоссе хрустят шины автобуса: я отворачиваюсь от выхлопной трубы и напоследок делаю глубокий вдох, чтобы захватить с собой побольше мартовского снега, свежего воздуха и дубовой рощи.

Несмотря на широкие плечи и высокий рост, я совсем не чувствую себя сильным человеком. Наоборот, я тот, кого обычно называют «лопухом», «салагой», «слабаком», «растяпой», «рохлей» или «размазней»: человек, не уверенный в себе и лишенный всякой мужественности, ни к чему не приспособленный, практически беспомощный, который на каждом шагу спотыкается, краснеет и бормочет извинения, поправляя сбившиеся на носу очки, у кого всегда потные от волнения ладони и бегающие глаза, чьи робкие вопросы в транспорте и в магазине можно спокойно пропускать мимо ушей. В электричке я стараюсь не показывать обложки сво-

ей книги, чтобы не вызвать легкий шок у соседей: я не только «лох», но еще и «умник», «очкарик», угнетающий своей плохо скрытой эрудицией. Для этого мне даже не надо открывать рта, достаточно с холодным видом взять газету и безмолвно просидеть весь вечер в шумной компании, образуя невидимый центр излучаемой на три шага неловкости. Я и сам чувствую, как в такие минуты у меня делается каменное, высокомерное лицо, готовое при первом же нажиме передернуться нервной судорогой. И хотя эта вторая маска вызывает у окружающих еще большую неприязнь, чем первая, она, по крайней мере, помогает лучше скрыть мой страх: вечный страх, что в один прекрасный день я не выдержу очередного испытания жизнью и опозорюсь, к своему ужасу и стыду, уже окончательно и навеки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.